

Леонид Андреев

Призраки



*Часть сборника
Иуда Искариот. Дни нашей
жизни. Повести. Рассказы*



Леонид Николаевич Андреев

Призраки

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2785805

Иуда Искарот : Дни нашей жизни ; Повести ; Рассказы : Эксмо;

Москва; 2012

ISBN 978-5-699-55327-3

Аннотация

«Когда окончательно выяснилось, что Егор Тимофеевич Померанцев, столоначальник губернского присутствия, действительно сошел с ума, его дальние родственники собрали между собою и у богатых людей денег и отдали его в частную психиатрическую лечебницу. Хотя до полной пенсии оставалось еще около десяти лет, начальство, снисходя к его болезни и двадцатипятилетней беспорочной службе, назначило ему пенсию, и таким образом он оказался хорошо устроенным до самой смерти, так как на излечение почти никаких надежд не было. В начале болезни Егора Тимофеевича жена его, – с которой он уже не жил лет пятнадцать, обнаружила притязание на пенсию и присылала адвоката, но ее удалось отстранить, и деньги остались за больным...»

Содержание

I	4
II	8
III	15
IV	23
V	33
VI	42

Леонид Николаевич Андреев Призраки

I

Когда окончательно выяснилось, что Егор Тимофеевич Померанцев, столоначальник губернского присутствия, действительно сошел с ума, его дальние родственники собрали между собою и у богатых людей денег и отдали его в частную психиатрическую лечебницу. Хотя до полной пенсии оставалось еще около десяти лет, начальство, снисходя к его болезни и двадцатипятилетней беспорочной службе, назначило ему пенсию, и таким образом он оказался хорошо устроенным до самой смерти, так как на излечение почти никаких надежд не было. В начале болезни Егора Тимофеевича жена его, – с которой он уже не жил лет пятнадцать, обнаружила притязание на пенсию и присылала адвоката, но ее удалось отстранить, и деньги остались за больным.

Лечебница находилась за городом и снаружи, со стороны шоссеиной дороги походила на обыкновенную дачу, при-ткнувшуюся к опушке небольшого смешанного леса. Над среднею частью дома выступал мезонин, как во всех дачах,

с очень высокою и острою крышею, напоминавшей опрокинутый дровяной топор, и с резным шпилем, на который в праздники вывешивали красный флаг для удовольствия больных. В тихие безветренные утра, ранней весной или осенью, со стороны города приносился звон церквей и мягкий гул езды, а в остальное время было тихо – тише, чем в самой деревне, где лают собаки, поют петухи и кричат дети. Тут не было ни детей, ни собак, которых заменял высокий глухой забор; кругом расстилался выгон, принадлежавший лечебнице и поэтому всегда безлюдный, и только в версте среди деревьев поднималась узкая железная труба какой-то фабрики. Она никогда не дымила, и, сама невидимая в лесу и молчаливая, фабрика казалась покинутой.

Только немногие из проезжих по шоссе знали, что за высоким плоским забором, с плотно запертыми воротами, находятся сумасшедшие, а остальные – мужики на подсакивающих пылящих телегах, редкие городские извозчики, велосипедисты, вечно куда-то торопящиеся на своих бесшумных машинах, – привыкли к глухому забору и не замечали его. Если бы все находящиеся за ним разбежались или внезапно умерли, то, вероятно, очень долго никто бы этого не заметил, – все так же спокойно проезжали бы попыливающие телеги и вечно торопящиеся велосипедисты. Буйных сумасшедших доктор Шевырев в свою больницу не принимал, и от этого там было очень тихо, как во всяком приличном доме, где живут хорошо воспитанные и сдержанные люди.

Единственный звук, который раздавался в больнице непрерывно и днем и ночью в течение уже десяти лет, с самого основания больницы, был так правилен, негромок и ровен, что его не слышали и не замечали, как не замечают люди тиканья часового маятника или биения своего сердца. Это стучал в свою дверь больной, запертый в комнате; где бы он ни находился, он отыскивал запертую или только притворенную дверь и начинал стучать в нее; если дверь открывали, он находил другую запертую дверь и снова стучал – он хотел, чтобы все двери были открыты. И стучал дни и ночи, коченея от усталости. Вероятно, силою своей безумной мечты он научился стучать и в то время, когда спал, – иначе он умер бы от бессонницы; но спящим его не видели, и стук никогда не прерывался.

И тихо было. И только изредка, большею частью в ночь, когда невидимый лес шумел от ветра, с кем-нибудь из больных делался припадок острой тоски, и он начинал кричать. Обыкновенно его очень быстро успокаивали, но случалось, что страх и тоска его были очень велики и не поддавались ни уговорам, ни лекарству, и он продолжал кричать. Тогда тревога передавалась всему населению разбуженного дома, и все больные, точно заведенные куклы, которых сразу пустили в ход, начинали беспокойно расхаживать по своим комнатам, размахивать руками и громко болтать всякий вздор. И все, даже самые тихие, стучали неистово в двери и просили их куда-то выпустить. В этих случаях фельдшер вызывал

по телефону доктора из «Вавилона», загородного ресторана, где Шевырев проводил свои ночи, и тот одним своим появлением успокаивал больных. Но долго еще за одинаковыми дверьми не замирала бессвязная болтовня, как в разбуженном птичнике, куда заглянул остромордый хорек.

Но это бывало редко, и ночью по шоссе почти никто не проезжал. Да и крик, смягченный стенами и расстоянием, был похож на самый обыкновенный крик разгулявшихся людей, тем более что среди больных были такие, которые при всяком беспокойстве пели.

II

Егору Тимофеевичу отвели комнату с высоким потолком и окном прямо в лес, так что в летние дни, когда окно было открыто, и прохладную комнату наполнял аромат березы и сосны, а на столе красовался кувшинчик с цветами, было действительно похоже на дачу. На бревенчатых стенах Егор Тимофеевич развесил картинки, которые привез с собою, и большой фотографический портрет сына, умершего еще ребенком от дифтерита, и тогда комната приняла совсем уютный, даже праздничный вид. А картинки были такие: девушка с гусями на лугу, ангел, благословляющий город, и мальчик-итальянец. Егор Тимофеевич был так доволен своей комнатой, что приводил всех больных смотреть ее и с доктором Шевыревым разговаривал не иначе как у себя. Если кто-нибудь – доктор или больные – отказывался идти к нему, он прибегал к хитрости: уверял, что у него есть там соловей, который прекрасно поет. Потом и он, и заманутые больные, и, видимо, сам доктор забывали о соловье и просто сидели так и разговаривали или рассматривали картинную галерею. Больным также очень нравилась комната Померанцева, и когда они начинали расхваливать свое заведение, то обязательно ссылались на нее.

И с самого начала Егор Тимофеевич знал, что он в сумасшедшем доме, но не придавал этому никакого значения, так

как был уверен, что, по желанию, может делаться бесплотным и тогда может летать и ходить по всему миру. И первые дни он каждое утро летал на службу в губернское присутствие, но потом отвлекался более важными занятиями. Был он высокого роста, худощавый, с очень еще черными вихрастыми волосами, добродушно торчавшими в разные стороны, и такой же бородой. Носил очень сильные очки, и когда смеялся, то открывал десны, отчего казалось, что смеется он весь, снаружи и с изнанки, и что даже волосы его смеются. И смеялся часто. Голос у него был низкий, клокочущий бас, производивший такое впечатление, будто на нем постоянно кто-то сидит и подпрыгивает, а при сильном смехе переходил в высокий тенор.

Очень быстро он перезнакомился со всеми больными и занял среди них видное и вполне определенное положение покровителя. Ему всегда грезилось, что он представляет собою что-то высокое, но вполне точного представления не было, и поэтому он постоянно менялся: то чувствовал себя графом Альмавива, то советником губернского правления, то святым, чудотворцем и благодетелем людей. Но чувство страшной силы, безграничного могущества и благородства никогда не покидало его и делало его в отношениях к людям очень сострадательным и лишь в редких случаях заносчивым и суровым. Последнее случалось, когда вместо Георгия его называли Егором. Он возмущался до слез, кричал, что под него подкапываются, и писал обстоятельные жало-

бы в святой синод и капитул ордена Георгиевских кавалеров. Доктор Шевырев немедленно присылал формальный ответ, что жалоба Егора Тимофеевича уважена, и он совершенно успокаивался и даже слегка подшучивал над доктором и его испугом при получении казенной бумаги.

– А я сам таких бумаг писал в день по сотне, – говорил он и смеялся. – И если захочу, то сейчас могу написать.

С этого «Георгия» и началось явное его сумасшествие, как сообщили доктору родственники больного.

Больных в лечебнице было немного: одиннадцать мужчин и три дамы. Все они одевались, как прежде дома, в обыкновенное платье, и только очень внимательный взгляд мог заметить неуловимый налет неряшливости и беспорядка, которого, при всех усилиях, не мог устранить доктор Шевырев. И волосы у них были, как следует, и только одна дама, желавшая ходить с распущенными волосами, производила несколько странное впечатление, да больной Петров имел огромную дикую бороду и поповскую гриву: он боялся бритвы и ножниц и не позволял стричь себя из опасения, что его зарежут. Зимой больные сами устраивали каток, катались на коньках и на лыжах, а весной и летом занимались огородом и цветами и были похожи на самых обыкновенных здоровых людей. Во всех этих занятиях Егор Тимофеевич был первым, и только трое не принимали никакого участия ни в деле, ни в забавах: тот Петров с дикой бородою, больной, который стучит, и пожилая сорокалетняя девушка, Анфиса Андреевна.

Она много лет служила экономкой у своей дальней родственницы – графини, и как-то так случилось, что для спанья ей дали очень короткую, почти детскую кровать, на которой она не могла вытянуть ног. И когда она сошла с ума, ей стало казаться, что ноги согнулись у нее навсегда и она не может на них ходить. И постоянно ее мучила мысль, что после смерти ей купят очень короткий гроб, в котором нельзя будет протянуть ног. Была она очень скромная, тихая, с бескровным красивым лицом, какое рисуют у монахинь или святых, и когда говорила, то всегда поправляла длинными белыми пальцами разорванные кружева на груди. Денег на ее содержание выдавалось немного, и носила она старые, странные платья, давно вышедшие из моды.

В Егора Тимофеевича она верила и убедительно просила его позаботиться о гробе.

– Конечно, и доктор обещал, но кто ж их знает. Они на то и поставлены, чтобы говорить нам неправду. А вы – дело другое, вы свой человек. Да и дело-то в пустяках: длинный гроб будет стоить на три рубля дороже короткого – я уже составила расчетик. Главное, чтобы кто-нибудь позаботился. Вы обещаете?

– Непременно, сударыня, непременно. Я устрою подписку среди больных и сделаю вам склеп.

– Вот это хорошо. Склеп – это совсем хорошо. Благодарю вас, Георгий Тимофеевич.

И бескровное лицо ее слегка розовело, как молочное об-

лако на восходе, когда коснется его первый солнечный луч. В бога Анфиса Андреевна давно не верила и на именины графа, когда в дом были приглашены иконы, совершила над одной из них страшное кощунство. Тогда и обнаружилось ее сумасшествие.

Во время прогулок, которые для всех больных были обязательны, Петров держался в стороне, так как боялся внезапного нападения, и летом держал в кармане камень, а зимою – кусок льда или сдавленного снега; в стороне от других находился и тот больной, что стучит. Быстро пройдя все открытые двери, он останавливался у калитки и начинал стучать – неторопливо, настойчиво, с равномерными промежутками. Вначале, когда он еще только попал в больницу, все суставы его нежных и белых пальцев были покрыты струпьями и свежими ссадинами; но постепенно пальцы загрибели, а на сгибах образовались большие твердые наросты, и стук от них получался твердый, сухой, как от камня.

Каждый раз Егор Тимофеевич считал своим долгом поговорить с ним.

– Доброе утро, милостивый государь. А вы все стучите?

– Стучу, – тихо отвечал больной, переводя на Егора Тимофеевича большие, печальные и странно глубокие глаза.

– И не отворяют?

– Нет, не отворяют, – так же тихо отвечал больной.

Голос у него был бледный, тихий, как эхо, но такой же странно глубокий, как глаза.

– Дайте-ка я открою, – говорил Егор Тимофеевич и начинал дергать засов и ковырял пальцем в замочной скважине. Но дверь не поддавалась, и тогда он предлагал другое. – Вот что, милостивый государь, я придумал: вы отдохните, а я постучу.

И несколько минут он добросовестно и громко барабанил кулаком в дверь, а больной отдыхал: тихонько поглаживал пальцы и, прищурившись, удивленно-равнодушными глазами обводил небо, сад, больницу, больных. Был он высокий, красивый и все еще сильный; ветерок слегка раздувал его седеющую бороду – точно сугробы наметал на красивое, строго-печальное лицо.

Однажды к нему подкрался Петров и шепотом спросил:

– Там кто-нибудь есть? Кто там?

– Нужно, чтобы было открыто.

– Как это глупо. А если она войдет?

– Нужно, чтобы было открыто.

– Как вас зовут?

– Не знаю.

Петров недоверчиво засмеялся и, крепко сжимая в кармане ледяшку, осторожно вернулся на свое место за дерево, где он был в сравнительной безопасности от внезапного нападения.

Вообще больные охотно и много разговаривали, но после первых же слов переставали слушать друг друга и говорили только свое. И от этого беседа их никогда не утрачивала

жгучего интереса. И каждый день то возле одного, то возле другого сидел доктор Шевырев и внимательно слушал, и казалось, что сам он много говорит, но на самом деле он постоянно молчал. Каждую ночь, с десяти вечера до шести часов утра, он проводил в загородном ресторане «Вавилон», и было непонятно, когда он успевает спать и так внимательно заниматься собою, чтобы быть всегда хорошо одетым, чисто выбритым и даже слегка надушенным.

III

У Егора Тимофеевича случались сильные головные боли, и ему поставили на затылок мушку. Когда ее сдирали, он кричал от боли и ругался, а потом повертел головою, засмеялся и сказал:

– Хорошо. Освежает, знаете ли. Очень хорошо. Вы неоцененный человек, Николай Николаевич!

И всегда и всем он был очень доволен. Кроме сумасшествия, у него был катар желудка, подагра и много других болезней; ему приходилось назначать диету и держать впроголодь, но он ел и не ел с одинаковым удовольствием, гордился своими болезнями, а за подагру даже благодарил доктора Шевырева и весь тот день громко покрикивал на больных, строивших снежную гору: ему смутно представлялось, что он генерал, назначенный наблюдать за постройкою грозной крепости. И всегда, что бы ни случилось, он находил, что это к лучшему. Однажды зимою в трубе загорелась сажа, и была опасность, что вспыхнет дом, и все больные и здоровые были по-своему перепуганы. Один только Егор Тимофеевич остался доволен: по его мнению, вместе с сажей должна была выгореть нечистая сила, которая ютится в трубе и по ночам воет. И когда в трубе действительно почему-то перестало вить, он написал донесение в святой синод и получил благодарственный ответ. По-прежнему он изредка летал на

службу в губернское присутствие, но большею частью занимался другим: по ночам к нему приходил Николай-чудотворец, и они вместе облетали все столичные больницы и исцеляли больных.

По утрам он просыпался разбитым, с отеками ногами, опухшим лицом и с такой сильною ломотою в шее, что несколько часов, пока разгуляется, должен был держать голову набок. И день свой он начинал получасовым мучительным кашлем, от которого вздувались вены на лбу и краснели белки глаз.

– Ну, как вы себя чувствуете сегодня? – спрашивал доктор Шевырев присаживаясь рядом с ним на не убранную еще кровать.

Егор Тимофеевич сопел носом и тяжело носил грудью, сдерживая поднимавшийся кашель.

– Отлично. Никогда не чувствовал себя так хорошо. – Он отдувался, окончательно побеждал кашель и, весело сияя глазами и улыбкой, продолжал:

– Устал только немного. Да и сами посудите: в Андрониевскую больницу слетай, в Дегтяревскую слетай, в Шепилевскую слетай. А дела сколько! В одной Дегтяревской пятеро ребят в крупе, задыхаются мальцы, один уже свистит. Ну, дунул на него Николай – и сейчас, это, дыхание ровное, улыбнулся, пить попросил. А уже два дня ничего не пил и не ел. Так мы с Николаем даже прослезились от радости. Честное слово!

Веки Егора Тимофеевича налились слезами, но он пошутил доктору:

– Каков у вас тезка-то, а? Не вам чета. Ну-ну, не обижайтесь, доктор. Я ведь шучу. Я знаю, что вы благороднейший человек и сейчас, это, тоже лечите, конечно. И лицом вы похожи на святого Эразма. Никола – тот седенький, маленький, а вы – на святого Эразма. Тоже хороший святой.

– А вы его видели?

– Как же. Всех видел.

И он долго рассказывал, какие прекрасные и благородные лица у святых. Потом бодро прошелся по комнате, держа голову набок, точно свернутую, сделал легкое мускульное упражнение руками и остановился у окна.

– Как тает-то! Ах, хорошо! Что будем нынче делать, доктор?

– Хотите на катке лед скалывать?

– Лед скалывать! Боже мой! Ведь это же первое мое удовольствие! Лед скалывать, и сейчас, это – помогать весне! Ах, боже мой! Чудеснейший вы человек, Николай Николаевич.

– А вы счастливейший человек, Георгий Тимофеевич.

И большими друзьями они уходили, и уже через четверть часа Егор Тимофеевич, весь обрызганный мелкими осколками льда и снега, озабоченно вонзал кирку в мягкий, вялый лед, похожий на плохой постный сахар. Было жарко от работы, и шея как-то распрямилась, на ладонях сладко ныли све-

жие мозоли, и день улыбался. Он стоял тихий, немного пасмурный, но теплый, и улыбался. И отовсюду капало: с крыш, с деревьев, с забора, и от этого забор и деревья были совсем темные. Пахло блинами, великим постом, тающим снегом и лошадиным навозом.

– Ловко я работаю? – кричал Егор Тимофеевич фельдшерице, маленькой девушке в ватной шубке.

Она сидела на лавочке, зябко поджав маленькие ноги, заботливо следила за больными, и носик ее краснел от сырости.

– Очень хорошо, Георгий Тимофеевич, – отвечала она слабым голосом и ласково улыбалась. – Я всегда люблюсь вами, когда вы работаете.

Егор Тимофеевич знал, что фельдшерица влюблена в него, и, хотя сам не мог отвечать на любовь, высоко ценил ее расположение и усиленно старался не скомпрометировать ее какой-нибудь неосторожностью. В его представлении она была героиней долга, бросившей аристократическую семью, чтобы ухаживать за больными, – у фельдшерицы семьи не было, она была из подкидышей, – светлой личностью и красавицей, за которой ухаживали гвардейские офицеры. И держался он с нею особенно, кланялся очень низко, водил ее под руку к столу и посылал ей летом через сторожа цветы, но наедине оставаться с нею избегал, из опасения поставить ее в неловкое положение.

Из-за этой фельдшерицы у него часто бывали ссоры с

больным Петровым, который держался о девушке совершенно противоположного мнения. Петров уверял, что, как все женщины, она развратна, лжива, не способна к истинной любви, и когда уходит, то обязательно смеется над оставшимися.

– Вы смотрите, – говорил он однажды Егору Тимофеевичу, придерживая рукой свою взлохмаченную, дикую бороду. – Вот сейчас она кокетничала с вами и со мной, а теперь стоит за дверь и хохочет, говорит: «Дураки!» – и хохочет. Вот она! слышите? И рожи, наверное, делает. Я ее знаю.

– Не может быть. Я тоже ее знаю.

– Ага! Вон она. Слышите? Давайте поймем ее.

И осторожно, на цыпочках, взявшись за руки, они крались к двери, Петров распахивал ее и торжествующе говорил:

– Ушла! Услыхала наш разговор и ушла. Они хитрые. Их никогда не поймаешь. Можно ловить всю жизнь – и не поймаешь.

По его словам, у фельдшерицы был от сторожа ребенок, и она убила его, удушила подушкой и ночью закопала в лесу; и место это, где ребенок зарыт, Петров хорошо знает. Этого Егор Тимофеевич не мог выдержать. Он отошел на шаг, протянул руку и торжественно сказал:

– Вы, Петров, совершеннейший злодей. Никогда в жизни я не подам вам руки и буду жаловаться на вас товарищескому суду.

Но товарищеский суд не мог состояться. Больные разме-

стилились полукругом, как их усадил Егор Тимофеевич, но тут дама с гордой осанкой и распущенными волосами заявила, что надо вынимать фанты, и все перепуталось. А через полчаса они опять дружески разговаривали, так как забыли о происшедшем, и говорили именно о фельдшерице, о ее красоте, которую оба они признавали. Только Егор Тимофеевич утверждал, что она прекрасна, как ангел, а Петров – что она красива, как демон. Потом Петров долго шепотом говорил о своих врагах. У него были враги, которые поклялись погубить его. Они печатали о нем в газетах, под видом финансовых отчетов, клеветнические статьи, выпускали каталоги и афиши, гонялись за ним по всему городу на пыхтящих автомобилях и по ночам подстерегали его за всеми дверьми.

Они подкупили братьев Петрова и мать его, старушку, и та ежедневно отравляла его пищу, так что он чуть не умер с голода. Они были могущественны. Они могли входить в камни, в стены, в деревья, и случилось однажды: он проходил по лесу, а дерево – осина быстро наклонилась и протянула скользкие ветви, чтобы удушить его. Вставая утром, он не знал, будет ли он жив к вечеру; ложась спать, он не знал, будет ли он жив к утру. Они могли входить в его тело, и бывало так, что рука или нога переставала слушаться Петрова и делала не то, что он хочет. Они могли даже входить в его душу и часто по утрам хитро уговаривали его убить себя и давали советы: как разбить стекло и осколком его перерезать вену на левой руке около локтя. И доктор Шевырев хорошо

знал об этом; третьего дня утром он сказал ему:

– Вы несчастнейший человек, Петров.

Очень приятно хоть раз услышать слово правды и сочувствия, тем более, что обыкновенно доктор Шевырев – очень эгоистичный человек, пьяница и развратник, устроивший лечебницу только для того, чтобы обирать дураков. Очень возможно, что он тоже подкуплен его матерью и ждет благоприятного момента, когда может разделаться с ним. В прошлое воскресенье Петров сам видел, что за углом стояла его мать, старушка, и пристально глядела в его окно, и когда он закричал, она торопливо скрылась, а доктор Шевырев уверял, что никого тут не было. Тогда как он сам, своими глазами, видел ее, вот тут за углом – в барашковой шапочке, сдвинутой набок, и с пристальными ужасными глазами.

Он рассказывал, и в его сдавленном голосе, в дикой взлохмаченной бороде был безнадежный ужас. Уже давно он был один, в своей комнате, но не помнил, как это случилось, и не думал об этом. Он расхаживал по комнате, бормотал, прижимал руки к голове и плакал. Потом грозил кому-то и снова плакал слезами безвыходного отчаяния и тоски. Что-то вспомнил и, оживившись, возбужденно сверкая глазами, целый час прижимался к окну и выслеживал мать. Несколько раз ему казалось, что из-за угла высовывается сдвинутая набок барашковая шапочка и старушечье бледное лицо с ужасными глазами, и он готовился испустить всегда готовый, всегда стоящий в гортани крик, – но видение исчезало. Быстро

падали за стеклом тяжелые капли тающего на крыше снега, и глянцевитые деревья тихо парились в белом, густом и теплом воздухе ранней весны. И светло было.

Возбуждение улеглось, исчезли отрывки мыслей, и осталась только тоска. Петров лег на, постель, и тоска, как живая, легла ему на грудь, впиалась в сердце и замерла. И так лежали они в неразрывном безумном союзе, а за стеклом быстро падали тяжелые крупные капли, и светло было.

Со стороны катка приносился сквозь двойные рамы беспечный хохот. Это Егор Тимофеевич пускал в луже кораблики на парусах и гоготал от удовольствия.

IV

Фельдшерица Мария Астафьевна не была влюблена в Егора Тимофеевича: уже три года, с тех пор как поступила она в эту лечебницу, она безнадежно любила доктора Шевырева и не смела открыться ему. Она любила его за ум, за благородство, за мужественную красоту, за то, что от него всегда пахнет какими-то особенными аристократическими духами, за то, что он всегда молчит и, по-видимому, очень одинок и несчастен. В трех комнатах мезонина, где жил доктор, она знала каждую мелочь обстановки, каждый клочок бумажки, каждую картинку; она раскрывала все его книги, которые раскрывал он, как будто там остался еще отпечаток его задумчивого взгляда; она пересидела на всех креслах и диванах и даже раз ночью, когда доктор, по обыкновению, был в ресторане «Вавилон», осторожно прилегла на его кровать. На подушках остался след ее головы, и она испуганно хотела взбить их, чтобы уничтожить впадину, но раздумала, – и всю ночь, стыдливо кутаясь в жесткое больничное одеяло, сторяя от стыда, от счастья, от любви, целовала свою беленькую девичью подушку. На туалетном столике доктора Шевырева она давно открыла флакон с теми духами, осторожно надушила свой платок, берегла его, как драгоценность, и упивалась его запахом, как пьяница запахом вина.

Кроме трех жилых комнат, в мезонине была четвертая,

совершенно пустая, с огромным итальянским окном, занимавшим почти целую стену. Все окно состояло из мелких разноцветных стекол в узорчатой сетке деревянного переплета и было сделано архитектором для красоты; и снаружи было действительно красиво, но внутри создавалось что-то беспокойное, неопределенное, раздражающее. Каждый раз, бывая наверху, Мария Астафьевна подолгу просиживала в этой комнате, рассматривая сквозь стекла знакомый и странно необыкновенный вид. Видны были небо, забор, шоссе, большая луговина и лес – и только. Но от стекол, то красных, то желтых, то синих, голубых и зеленых, все это странно менялось и, если смотреть так: быстро переходя через все стекла, – походило на очень странную музыку. А если долго смотреть через одно какое-нибудь стекло, то менялось настроение. Особенно противно было желтое: как бы хорош и ярок ни был день, оно делало его мрачным, призрачным, зловещим, угрожающим какою-то бедою, намекающим на какое-то страшное преступление. И становилось тоскливо, и не верилось, что доктор Шевырев сделает ее своею женою. Если бы не это стекло, она давно объяснилась бы с ним; и каждый раз Мария Астафьевна давала клятву не смотреть в окно, и каждый раз смотрела, пугаясь, тоскуя, не узнавая привычного, странно изменившегося вида. И соседство этого окна с кабинетом доктора тревожило ее, как какая-то близкая, но несознаваемая опасность.

Одиночество доктора Шевырева будило в Марии Аста-

фьевне чувство, схожее с материнским.

Она заботилась о его книгах, о его белье и ужасно жалела, что не имеет власти над кухней, и доктор Шевырев ест бог знает какую гадость. Ревновала его к больным, к сторожу, которому он давал какие-то таинственные, интимные поручения, и уже давно хранила в комодке вместе с платком большую исписанную тетрадь, в которой заклинала доктора Шевырева отказаться от посещения «Вавилона», от шампанского и от ужасной развратной жизни, о которой она догадывается. Когда она написала «развратной», ей стало так больно, так обидно, она так возненавидела и себя и доктора Шевырева, что не могла продолжать, легла на постель вместе с тетрадью и всю ночь проплакала на тетради, испортивши слезами две страницы.

В той же тетради она смело предлагала себя доктору Шевыреву, но только в жены и только с тем условием, чтобы он оставил посещения «Вавилона» и шампанское, и доказывала, что это будет выгоднее: как жене он не будет платить ей жалованья, а стол останется все равно тот же. И кроме того, она, с его разрешения, расширит его врачебное дело, так как много занималась и занимается литературой по психиатрии и хорошо видит недостатки в теперешней постановке лечебницы. И умоляла его решить вопрос поскорее, так как ей уже двадцать четыре года и она скоро начнет отцветать, и тогда уже будет поздно.

Два года лежала тетрадка, но Мария Астафьевна не осме-

лилась ее отдать и часто в отчаянии хотела поскорее умереть, чтобы дать только возможность доктору Шевыреву прочесть написанное. А он ничего не знал и каждый вечер в десять часов аккуратно уезжал в ресторан «Вавилон» и возвращался на рассвете. Каждый раз в прихожей, уезжая, он наталкивался на фельдшерицу и говорил:

– А вы еще не ложитесь? Спокойной ночи.

И она отвечала:

– Спокойной ночи.

В «Вавилоне» доктор Шевырев был как свой и после метрдотеля считался первым человеком. Он знал всех официантов по именам, а также всех хористов и хористок из цыганского и русского хоров, разделял все горести и радости заведения, одним своим присутствием и двумя-тремя словами улаживал недоразумения между администрацией ресторана и пьяными посетителями и выпивал за ночь три бутылки шампанского – не больше и не меньше. И так как находился не в больнице, был не доктором, а частным человеком, то позволял себе изредка улыбаться, но говорил все так же мало.

Часов до двенадцати, до часу он сидел в общем зале, за одним из бесчисленных столиков, среди целого разноцветного моря лиц, голосов, костюмов, боком к открытой сцене, где поочередно являлись певицы и певцы, иногда и жонглеры и акробаты. Стекла бокалов и рюмок звенели, голова сливались в ровный, живой шум, пахло духами и вином,

скользившие между столиков красивые, накрашенные женщины улыбались доктору Шевыреву, и все заливал ослепительный, праздничный свет электрических лампочек. Люди за столиками менялись: одни уходили, другие тотчас занимали их места, но казалось, что все это одни и те же люди – так равнял их свет электричества, живой, непрерывающийся гул, запах вина и духов. Так в метель толкуются снежинки перед освещенным окном, и кажется, что все это одни и те же, а это все разные, все новые, приходящие из тьмы, уходящие во тьму. И только потому чувствовалось время, что бутылка шампанского пустела, да жарко становилось, да живее, тревожнее, острее делался непрерывный гул. Он то падал до половины почти тишины, когда ясно слышалось отдельное слово, сказанное в другом конце зала, то возрастал, порывисто, судорожно, точно взбегал на изломанные ступеньки, обрывался, снова бежал – и рассыпался, как фейерверк, яркими огоньками: красными, голубенькими, зелеными. И казалось, что в толпе прибавилось басов и женских высоких голосов, и взлетали, как брызги при столкновении волн, отдельные громкие, часто исступленные крики: залиvistый смех, похожий на истерику, обрывок песни, слепое ругательство. И все чаще взлетали ругательства: нельзя было различить людей, которые бранятся, а ругательства чертили воздух, колючие, кривые, как летучие мыши, ослепшие от яркого света. Сильнее пахло духами и вином, и трудно становилось дышать; опьяневший воздух точно убежал от жадно открытого

рта.

В час или два приезжала какая-нибудь компания знакомых доктора Шевырева, – а в «Вавилоне» он перезнакомился почти со всем городом, – и метрдотель приглашал его к приехавшим в отдельный кабинет. Там доктора встречали радостными криками и шутками, многие целовались с ним, так как считали его своим другом, и он помогал составить меню ужина, выбирал вина, назначал очередь хорам и выбирал из них солистов и солисток. Потом усаживался на краю стола с своею бутылкой шампанского, которую всюду носили за ним, и улыбался, когда к нему обращались, отчего казалось, что он много говорит, но на самом деле он молчал.

В кабинете было прохладно, вначале даже холодно, но очень быстро он нагревался, а оттого, что он был теснее залы и стены ближе, происходившее казалось страннее и беспорядочнее. Пили, смеялись, говорили все сразу, слушая только себя, объяснялись в любви, целовались и иногда дрались. Каждый вечер люди менялись, проходили перед доктором Шевыревым артисты, писатели и художники, купцы, дворяне, чиновники и офицеры из провинции; кокетки и порядочные дамы, иногда совсем молоденькие, чистые девушки, от всего приходившие в восторг и пьяневшие от первой капли вина. Но все делали одно и то же. Входили цыгане: мужчины высокие, долгошеие, с угрюмыми, скучными лицами, и женщины – скромные, почти все в черном, усиленно равнодушные к разговорам, замечаниям и винам на столе. По-

том внезапный гик, визг, завитуха гортанных диких голосов, бешенство страстей, безумие веселья, точно все перевернулось, точно открылось все. И пляска. Какой-то скелет в платье женщины бешено носится, у стола кружится, в исступлении подергивает костлявыми плечами, — и снова тишина, порядок, скромные женщины, одетые в черное, скучные лица мужчин. И только груди поднимаются выше да у той, худощавой, что танцевала, дрожат руки.

Смуглая красивая девушка поет, опустив черные ресницы. Всем хочется взглянуть в ее глаза, а она опустила их, смуглая, красивая, чужая, и поет:

Я не вправе любить и забыть не могу,
И терзаюсь душой я на каждом шагу.
Быть с тобою нельзя, а расстаться нет сил, —
Без тебя же весь мир безнадежно уныл.

О забвенья моля, проклиная недуг,
Я ищу этих жгучих и сладостных мук.
Я не смею любить и забыть не могу.
Ни порвать, ни связать эту тонкую нить...

И так просто пела она, ни на кого не глядя, смуглая, красивая, чужая, как будто рассказывала одну только правду, и все верили, что это правда. И грустно становилось, просыпалась грустная любовь к кому-то призрачному и прекрасному, и вспоминался кто-то, кого не было никогда. И все, любившие

и не любившие, вздыхали и жадно глотали вино. И, глотая, чувствовали внезапно, что та прежняя трезвая жизнь была обманом и ложью, а настоящее здесь, в этих опущенных милых ресницах, в этом пожаре мыслей и чувств, в этом бокале, который хрустнул в чьих-то руках, и полилось на скатерть, как кровь, красное вино. Громко рукоплескали и требовали новых песен и нового вина.

Потом, по выбору доктора Шевырева, поет белокурая пожилая цыганка с истощенным лицом и огромными расширенными глазами – поет о соловье, о встречах в саду, о ревности и молодой любви. Она беременна шестым ребенком, и тут же стоит ее муж, высокий рябой цыган в черном сюртуке и с подвязанными зубами, и аккомпанирует ей на гитаре. О соловье, о лунной ночи, о встречах в саду, о молодой красивой любви поет она, и ей также верят, не замечая ни тяжелой беременности ее, ни истощенного старого лица.

И так до утра. Доктор Шевырев не старался запомнить ни лиц, ни фамилий своих друзей и не замечал, когда одни исчезали и на смену являлись другие. Он молчал, улыбался, когда к нему обращались, пил свое шампанское, а они кричали, плясали вместе с цыганами, хвастались и жаловались, плакали и смеялись. Большею частью было весело и нелепо, но иногда случались несчастья. Два года назад, когда пела молодая, красивая цыганка, застрелился студент, тут же, при всех. Отошел в угол, наклонился, точно собираясь плюнуть, и выстрелил себе в рот, еще пахнувший вином. Один

из приятелей доктора, расцеловавшись с ним, уехал из «Вавилона» и в ту же ночь в каком-то притоне был убит и ограблен. Несколько лет назад он встречал здесь Петрова. Тогда у него была красивая подстриженная бородка; он смеялся, лил зачем-то вино в цветы и ухаживал за красивой цыганкой. И цыганки той нет. Она заболела после искусственного выкидыша и куда-то исчезла. А впрочем, быть может, никогда такой цыганки и не было, и доктор смешал с нею других — кто знает.

В пять часов доктор Шевырев кончал третью бутылку шампанского и уходил домой. Зимой в это время было уже темно, и он уезжал на извозчике, а осенью и весной, если была хорошая погода, шел пешком, так как до больницы было недалеко: пять или шесть верст. Идти нужно было сперва большим пригородным селом, а дальше по шоссе, полем и опушкой леса. Солнце только что поднималось, и глаза его были еще как будто красны от сна: и воздух, и лесок на солнечной стороне, и пыль по дороге были окрашены нежно-розовой краской. Ехали в город на базар мужики и бабы, и в их плотно одетых фигурах чувствовался еще холодок недавней ночи; пыль за телегами поднималась лениво, как сонная, и у безлюдного трактира играли щенки. Попадались люди с котомками, те загадочные люди, которые всю жизнь куда-то идут на зорях ранними утрами, а потом начиналось росистое поле и лес, влажный, прохладный, немного суровый, еще не прогретый ранним солнцем. И в лес не хотелось, и не хоте-

лось идти в тень, а тянуло на солнце.

Так шел он, бритый, в цилиндре, задумчиво помахивал рукою в палевой перчатке и что-то насвистывал – в тон птицам, заливавшимся в лесу. А за ним в свежем утреннем воздухе далеко тянулся легкий запах духов, вина и крепких сигар.

V

Прошло лето, настала дождливая осень. Две недели лил дождь, почти не переставая, а когда на несколько часов затихал – отовсюду поднимались дымчатые холодные туманы. Прошел раз снег большими белыми хлопьями, прилег на минуту белым разорванным ковром на зеленой еще траве и тотчас же растаял, – и стало еще мокрее, еще холоднее. В больнице уже с пяти часов зажигали огонь, а весь день стоял холодный сумрак, и деревья за окном уныло размахивали ветвями, словно стряхивали с себя последние мокрые листья. От непрерывного шума дождя по железной крыше, от сумрака и отсутствия развлечений больные беспокоились, чаще страдали припадками и постоянно на что-нибудь жаловались. Некоторые простудились, и в том числе больной, который стучит: у него сделалось воспаление легких, и несколько дней можно было думать, что он умрет, и другой умер бы, как утверждал доктор, но его сделала непостижимо живучим, почти бессмертным его страшная воля, его безумная мечта о дверях, которые должны быть открыты: болезнь ничего не могла сделать с телом, о котором забыл сам человек. В бреду он говорил об открытой двери, умолял, просил, требовал, так грозно, что сиделка боялась оставаться с ним, хотя он был одет в горячечную рубашку и был привязан к кровати. Поправлялся он очень быстро, и доктор Шевырев велел

дверь в его комнату держать открытой; прикованный слабостью к постели, невольно радующийся возвращенной жизни, он забывал, что за этой дверью есть другие, закрытые, и не мог узнать этого. И весь этот день он был счастлив. Но уже на следующее утро послышался его слабый стук у соседней запертой двери.

Простудился и Егор Тимофеевич: у него был жестокий насморк, и, кроме того, он потерял голос, так что говорил сиплым, но громким шепотом. Но чувствовал он себя великолепно. За лето он вырастил сам, своими трудами, огромную тыкву и поднес ее фельдшерице; та хотела отнести ее на кухню, но Егор Тимофеевич не позволил, сам выбрал ей место на столе и часто забегал в комнату взглянуть на нее; тыква смутно напоминала ему земной шар и говорила о чем-то великом.

Кроме того, доктор Шевырев подарил ему десять открытых писем с рисунками, и Егор Тимофеевич занялся составлением каталога к своей картинной галерее и сам рисовал обложку. На обложке он прежде всего нарисовал себя в могущественном виде, как собственника галереи, и так увлекся этим, что на всех страницах тетради повторил тот же рисунок. Потом попросил у доктора самый большой лист бумаги и во всю его величину опять нарисовал себя, а сверху вдохновенно, без размышлений, сделал надпись: «многоуважаемый Георгий-победоносец». Картину повесил в столовой, у самого потолка, и те из больных, которые могли любоваться

ею, хвалили Померанцева.

Но дурная погода влияла и на Егора Тимофеевича, и ночные видения его были беспокойны и воинственны. Каждую ночь на него нападала стая мокрых чертей и рыжих женщин с лицом его жены, по всем признакам – ведьм. Он долго боролся с врагами под грохот железа и, наконец, разгонял всю стаю, с визгом и стоном разлетающуюся от его огненного меча. Но каждый раз после битвы наутро он бывал настолько разбит, что часа два лежал в постели, пока не набирался свежих сил.

– Конечно, и мне попало, – откровенно сознавался он доктору Шевыреву. – Один, это, здоровенный черт взял бревно и сейчас, это, мне под ноги, а потом навалился на меня и давай душить. Ну, я ему сейчас, это, и показал, где раки зимуют! Обещали нынче опять прийти. Если ночью шум услышите, так не пугайтесь, а посмотреть приходите: интересно!

И долго, с новыми и интересными подробностями, рассказывал о ночном сражении.

Хуже всех чувствовал себя Петров. От постоянного сумрака, ползшего в окна, ему казалось, что уже наступает конец, и каждую минуту он ожидал чего-то ужасного. Предчувствие надвигающейся беды было так осязательно, что по целым часам он сидел неподвижно, не смея встать, не смея шевельнуться. Он знал, что пока он сидит неподвижно, этого не может быть, но стоит ему встать, шевельнуться, косо, назад себя взглянуть глазами – оно, это ужасное, сейчас же

случится. А вставши и начав ходить, он не смел остановиться, так как ужас был в неподвижности, и ходил он все быстрее, поворачивался все чаще, озирался все острее, пока в изнеможении не падал на кровать. По ночам он так зарывался в подушки и одеяло, что почти задышался, но открыться не смел, хотя всю ночь в комнате горел огонь и напротив него спала сиделка, приставленная к нему ввиду его особенного беспокойного состояния. И так же, как днем, или он лежал неподвижно, как труп, или весь непрестанно двигался мелкими частыми движениями, похожими на обыкновенную дрожь от холода. Весь ужас его сосредоточивался в матери, слабенькой старушке с бледным лицом. Он уже не думал, что ее подкупили враги, и не приискивал никаких объяснений, он просто боялся ее, и именно того момента, когда она покажет свое старушечье лицо и скажет:

– Сашенька!

Что произойдет тогда, он не знал, и не смел, и не мог думать. И всегда он чувствовал ее близость. Она ходила по лесу в своей барашковой, сдвинутой набок шапочке, она пряталась под столом, под кроватями, во всех темных углах. А ночью она стояла у его дверей и тихонько дергала ручку.

В воскресенье утром приезжала его мать и целый час плакала в мезонине у доктора Шевырева. Петров ее не видал, но в полночь, когда все уже давно спали, с ним сделался припадок. Доктора вызвали из «Вавилона», и, когда он приехал, Петров значительно уже успокоился от присутствия людей

и от сильной дозы морфия, но все еще дрожал всем телом и задыхался. И, задыхаясь, он бегал по комнатам и бранил всех: больницу, прислугу, сиделку, которая спит. На доктора он также накинулся.

– Что у вас за сумасшедший дом! – кричал он через плечо, на бегу, оглядываясь на него. – Что это за сумасшедший дом, в котором на ночь не затворяют дверей, так что может войти всякая... всякий, кому захочется. Я жаловаться буду! Если нет денег на лишнего сторожа, то лучше не заводить больниц, иначе это мошенничество. Да, сударь, мошенничество, грабеж. На вас полагаются как на честного человека.

– Дайте-ка пульс, – сказал доктор Шевырев.

– Натe. Только вашими пульсами вы меня не обманете. Петров остановился и, с ненавистью глядя на бритое лицо доктора, неожиданно спросил:

– В «Вавилоне» были?

Доктор утвердительно мотнул головой.

– Ну, как там?

– Хорошо.

– Я думаю, хорошо. Еще бы не хорошо. Но только вы двери все-таки велите запирать. Вавилон – Вавилоном, а больница – больницей. – Он громко захохотал, но губы его дрожали, и смех вышел также дрожащий и напоминал, скорее, лай озябшей собаки.

– Да, я велю запирать. На этот раз простите. Небрежность прислуги.

– Вам небрежность, а для меня это черт знает чем пахнет. Ну, да ладно, на первый раз прощается. Слышали? – строго обратился он к фельдшеру и прислуге. – Сейчас же затворить все двери! – Он громко рассмеялся: – А то мы с вашим доктором моментально удерем в «Вавилон»!

Когда Петрова уложили в постель и он уснул, доктор Шевырев пошел вверх и в коридоре, у лестницы, встретил Марию Астафьевну. Она была совсем одета, и глаза ее в полусвете горели.

– Доктор!.. – шепнула она, но захлебнулась словом и громко повторила: – Николай Николаевич!

– А, это вы! Отчего вы не спите? Поздно.

– Николай Николаевич!..

– Что? Нужно что-нибудь?

– Николай Николаевич... – Дыхание ее захватило; она хотела сказать многое: о своей любви, о «Вавилоне», о шампанском, но выговорилось другое: – Бром Поляковой давать?

– Как же, давайте. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи. Вы опять уедете?

Доктор Шевырев взглянул на часы: они показывали половину четвертого.

– Поздно уже, пожалуй? Не пойду.

– Благодарю вас.

Мария Астафьевна всхлипнула и убежала с нарастающим громким рыданием, такая маленькая в большом и высоком коридоре, как девочка. Доктор Шевырев посмотрел ей вслед,

еще раз взглянул на часы и, покачав головою, отправился к себе наверх.

Следующий день был суровый, без дождя, но очень холодный – видимо, погода поворачивала на зиму. И как-то очень быстро подсыхало. К четырем часам, когда больных выпустили на полчаса погулять, дорожки были совершенно сухи и тверды, как камень, и опавший лист шуршал под ногами с легким отзвуком жести. Доктор, Егор Тимофеевич и Петров вначале гуляли по дорожке, причем доктор и Петров молчали, а Егор Тимофеевич забавлялся тем, что зарывал ногу в шуршащий лист, а потом глядел назад – остался след от его ноги или не остался. И болтал что-то об осени в Крыму, где он никогда не был, об охоте с гончими собаками, которых он никогда не видал, и о многом другом, бессвязном, но веселом и интересном.

– Сядем, – предложил доктор.

Они сели на скамеечку, доктор Шевырев посередине, а остальные по бокам и как-то так, что прямо перед их глазами открылось холодное небо с бледно-серыми высокими облаками. Уже вечерело, и далеко, за версту, над едва видимыми верхушками деревьев носилась огромная стая галок, искавших ночлега. Они метались сплошной, но живую полосой и кричали, и, хотя их было много, в озабоченном крике их звучало одиночество осени, предчувствие долгой, холодной ночи, бесплодная жалоба. Несколько галок отделилось от стаи, и когда они приблизились, видно стало, что четыре галки

преследуют одну, – и скоро все они скрылись за лесом. Петров, несколько успокоившийся после вчерашнего припадка, напряженно и странно всматривался в галок, переводя глаза на доктора и снова на галок. Егор Тимофеевич тоже замолчал и неодобрительно вглядывался в незаметно темневшее небо и в галок.

– Хорошо теперь дома, – почему-то удивленно сказал он. – Пойти и сейчас, это, чаю выпить.

– Они сюда летят, – сказал Петров.

Он побледнел и слегка придвинулся к доктору Шевыреву.

– И то, пойдёмте, – ответил доктор. – Георгий Тимофеевич, вы вперед.

В этих словах Егору Тимофеевичу послышался призыв к власти. Он мужественно выпрямился и отчетливо зашагал, подражая руками движению барабанщика, бьющего в барабан, и выделявая голосом соответствующие звуки:

– Там-тара-та-там! Там-тара-та-там!

Так шел он впереди и барабанил, отчетливо отбивая шаги, а за ним, невольно в такт, шагали те двое. И Петров прижимался к доктору и все оглядывался назад – на беспокойную, растерянную стаю галок, на холодное, безнадежное, темнеещее небо.

– Там-тара-та-там! Там-тара-та-там!

Сторож издалека увидел доктора и широко распахнул двери. Первым, громко барабана, с гордо закинутой головой, торжественно вступил Егор Тимофеевич. За ним, невольно

шагая в такт, вошли те двое, и Петров обернулся в дверях, и на лице его был ужас.

К ночи поднялся сильный ветер, гремевший железными листами на крыше, – и в эту ночь умер от страха Петров.

VI

Покойника отнесли в большую холодную комнату, имевшуюся в больнице для таких случаев, обмыли и одели в черный сюртук, топорщившийся на груди. Днем приехали мать Петрова и старший брат его, очень известный писатель, поклонились праху и пошли к доктору Шевыреву в мезонин. Старушка, совсем обессиленная от горя, едва взошла на лестницу, упала на диван и, маленькая, вся высохшая от долгой жизни и страданий, стала похожа на черный измятый комок с белым лицом и волосами. Скупно плача последними старушечьими слезами, она долго рассказывала, как все родные любили Сашу, и каким горем поразила их неожиданная и страшная болезнь его. Во всем их роду не было сумасшедших, и Саша всегда был очень здоровый юноша, хотя несколько мнительный. И о мнительности его она говорила очень долго, и казалось, что она в чем-то оправдывается, что-то старается доказать, но не может. Доктор Шевырев односложно успокаивал ее, а писатель, высокий, мрачный, черноволосый, немного похожий на покойного брата, раздраженно прохаживался по комнате, пощипывал бороду, посматривал в окно и всем поведением своим показывал, что рассказ матери ему не нравится. У него было свое мнение о болезни брата, очень умное, отчасти основанное на науке, отчасти ставившее болезнь Саши в зависимость с общим

неудовлетворительным укладом жизни. Но теперь, когда Саша лежал мертвым, говорить об этом было как-то неловко, тем более, что пришлось бы коснуться и дурного характера покойного. Наконец он не выдержал и перебил мать:

– Мамочка! Пора ехать. Мы мешаем господину доктору.

– Сейчас, Васенька, два слова только.

И она снова плела свою бесконечную историю, в чем-то, оправдываясь, что-то хотела доказать, но не могла. Сын с раздраженным любопытством вглядывался в ее качающуюся седую голову в черной кружевной наколке, вспомнил, какие нелепости говорила она дорогою, и подумал, что мать его совсем выжила из ума, что внизу, запертые по своим комнатам, сидят сумасшедшие, что брат его, который умер, тоже был сумасшедшим. Все выдумывал что-то беспокойное, бредовое, мучительное, каких-то врагов. Врагов! Вот если бы ему дать его врагов, настоящих врагов, беспощадных, могущественных, неутомимых, не брезгающих клеветою и доносом, – что бы он сказал тогда!

– Как хотите, мама, нужно же наконец ехать.

– Сейчас, Васенька. А можно мне будет, Николай Николаевич, провести ночь около Саши? А то один он. Никто во всем нашем роду не умирал в больнице, один он, бедненький, мальчик мой бедненький!.. – И она заплакала.

Доктор Шевырев любезно выразил согласие, и Петровы уехали, и дорогою старушка снова говорила нелепости, а сын ее морщился и тоскливо смотрел в осеннее темное поле.

Егора Тимофеевича, ввиду полной его безвредности, никогда не запирали, и весь этот беспокойный день он возбужденно толкся на народе, присутствовал на всех панихидах, выдавал и снова отбирал свечи, и если кто забывал погасить свою свечу, Егор Тимофеевич сам громко и деловито задувал огонь. К покойнику он чувствовал жгучий интерес, каждые полчаса забегал в комнату полюбоваться на него, поправлял покрывало и упрямо топорщившийся сюртук и чувствовал себя почти таким же важным и интересным, как сам покойник. Он был жив и хлопотал, а это было ничуть не менее интересно, загадочно и важно, чем умереть и лежать в гробу, и он это сознавал. И пока он бегал и распоряжался, в голове его звучали красивые, гордые слова: «усопший», «в бозе почивший», «новопреставленный», и от этих слов, и от всего, что делалось кругом, чувствовал себя необыкновенно счастливым. И только в глубине его сознания было что-то тревожное, растерянное, как будто он забыл что-то очень важное, хочет вспомнить и не может. На бегу он часто останавливался, озабоченно потирал лоб и потом приставал к Марии Астафьевне с вопросом:

– Мария Астафьевна! Что вы мне сказали сделать? Я все сделал.

Фельдшерица была еще до сих пор счастлива, что доктор Шевырев тогда ночью не поехал в «Вавилон», и ласково успокаивала больного:

– Вы все сделали, Георгий Тимофеевич. Мы очень вам

благодарны – я и доктор. Понимаете: я и доктор? Я и доктор.

– Ну то-то. А то мне показалось... – И он снова убежал хлопотать.

И когда наступила ночь, Егор Тимофеевич никак не мог уснуть: ворочался, кряхтел и наконец снова оделся и пошел поглядеть на покойника. В длинном коридоре горела одна лампочка и было темновато, а в комнате, где стоял гроб, горели три толстые восковые свечи, и еще одна, четвертая, тоненькая, была прикреплена к псалтырю, который читала молоденькая монашенка. Было очень светло, пахло ладаном, и от вошедшего Егора Тимофеевича по дощатым стенам побежало в разные стороны несколько прозрачных, легких теней.

– Дайте-ка, матушка, я почитаю, – сказал Егор Тимофеевич.

Молоденькая монашенка, молодость которой проходила в том, что она читала по покойникам, охотно уступила место, так как приняла Егора Тимофеевича за какое-нибудь начальство или за старшего родственника, и отошла к стороне. С дивана, при звуке шагов и разговора, поднялась закутанная от холода в платок мать Петрова. Сухая маленькая голова ее с седыми волосами слабо покачивалась, а лицо было такое доброе и такое чистое, как будто она десять раз на день промывала его во всех морщинках. Она уже давно лежала на диванчике, но не спала и все думала.

Вначале Егор Тимофеевич читал очень выразительно и хорошо, но потом стал развлекаться свечами, кисеей, венчи-

ком на белом лбу мертвеца, начал перескакивать со строки на строку и не заметил, как подошла монашенка и тихонько отобрала книгу. Отойдя немного в сторону, склонив голову набок, он любовался покойником, как художник любит свою картину, потом похлопал по упрямо топорщившемуся сюртуку и успокоительно сказал Петрову:

– Лежи, брат, лежи. Я скоро опять приду.

– Вы знали Сашеньку? – спросила мать Петрова, подходя.

Егор Тимофеевич обернулся.

– Да, – решительно сказал он. – Он был мой лучший друг.

Друг детства.

– А я его мать. Мне очень приятно, что вы так отзываетесь о Сашеньке. Позвольте с вами побеседовать?

Егору Тимофеевичу представилось, что он – доктор Швырев, выслушивающий жалобы больных, и, сделав внимательное, серьезное, ученое лицо, он предупредительно ответил:

– Пожалуйста. Но не хотите ли присесть, так будет удобнее...

– Нет, я так. Скажите, ведь неправда, что Сашенька был плохой человек?

– Он был великолепнейший человек, – искренно опроверг Егор Тимофеевич. – Это был лучший из людей, какого я знал. Конечно, были у него некоторые... странности, но кто из людей не имеет их?

– Вот то же и я говорю, а Васенька сердится. Вы так меня

радуете, так утешаете меня. И скажите, Сашенька не жаловался вам?.. Он, бедненький, думал, видите, что я мало его любила, а я, верьте богу, так его любила, так любила...

И, тихонько плача, она рассказала Егору Тимофеевичу всю скорбную повесть материнских страданий, когда на глазах ее погибал, неизвестно отчего, ее любимый сын и она ничем не могла помочь ему; и снова она оправдывалась в чем-то и что-то хотела доказать, но не могла. И как будто ни для нее, ни для Егора Тимофеевича, спокойно облокотившегося на край гроба, не было здесь покойника, как будто смерть не являла здесь своего страшного образа: старушка так близко к себе чувствовала смерть, что не придавала ей никакого значения и путала ее с какой-то другой жизнью, а Егор Тимофеевич не думал о ней. Но слезы старой, седой женщины трогали его и то же прежнее беспокойство с силой овладевало им.

– Дайте-ка пульс. Так, хорошо. Не волнуйтесь, все устроится прекрасно. Я сделаю все, что возможно. Будьте совершенно спокойны.

– Вы так утешаете меня, вы так добры... Благодарю вас. – И старушка неожиданно схватила его руку и поцеловала.

– Что вы, что вы? – сконфуженно и возмущенно крикнул Егор Тимофеевич. – Разве у мужчины целуют руку?

Он густо и наивно покраснел, как краснеют только пятидесятилетние морщинистые люди, и быстро вышел. Но в коридоре было темно, и он пошел тише, и уже через несколь-

ко шагов возле него появился Николай-чудотворец. Он был низенький, седенький старичок в татарских туфлях с загнутыми носками и с золотым ободком вокруг головы. Егор Тимофеевич шел, понутив голову, и Николай-чудотворец шел, понутив голову, и ступал неслышно, как по войлоку. И очень долго шли они, как будто коридор был бесконечен, шли и оба думали. По бокам белели запертые двери, одни безмолвные, и за ними чувствовался сон, а за другими слышалась ровная, невнятная болтовня беспокойных больных, у которых не было покоя, не было сна. И бесконечен был коридор, и бесконечно тянулись запертые двери.

За одной из них, с левой стороны, слышался негромкий, но твердый и размеренный звук, такой постоянный, что казался тишиною: это стучал больной, на днях вставший с постели и снова принявшийся за свою бесконечную работу.

– Стучит, – сказал Егор Тимофеевич, не поднимая головы.

– Стучит, – ответил Николай, не поднимая головы.

– Хорошо все.

– Хорошо, – согласился Николай.

Они шли и оба думали.

– Только отчего вот тут, в груди, под сердцем, бывает иногда так тяжело, так тяжело? Так тяжело, Никола!

– Нельзя же сидеть в сумасшедшем доме и не поскучать порою.

– Ты думаешь? – Егор Тимофеевич повернулся к Нико-

лаю. Тот ласково глядел на него, улыбался тихонько и плакал. – Отчего ты плачешь? Улыбаешься и плачешь?

– Ты сам улыбаешься и плачешь.

И снова они шли и думали.

– Стучит, – сказал Егор Тимофеевич.

– Стучит, – ответил Николай.

– Мне жалко тебя, Никола. Такой ты старенький, хворенький, в чем душа держится, а все ходишь, все ходишь, все летаешь, все беспокоишься. Вот ко мне прилетел, не позабыл.

– Я в туфлях. А в сапогах тяжело.

– Стучит, – сказал Егор Тимофеевич. – Полетим куда-нибудь, Никола, пожалуйста. А то скучно мне очень, так скучно. И ноги болят.

– Полетим, – согласился Николай. И они полетели.

В полутемном коридоре царила беспокойная тишина.

Тянулись запертые двери, и за некоторыми слышалась невнятная, тревожная болтовня тех, кто не знал покоя и сна. В конце коридора за безмолвною дотоле дверью послышался громкий крик:

– Ку-ка-ре-ку!

Это кричал больной, который считал себя петухом. С точностью хронометра он просыпался в двенадцать, три и шесть часов, хлопал руками, как крыльями, и кукарекал, будя спящих. Но никто из спящих не проснулся и не отозвался, и сам больной, считающий себя петухом, скоро заснул; и только за одной белой дверью, с левой стороны, продолжался все тот

же размеренный, непрерывный стук, похожий на тишину.

Ночь убывала, а он все стучал. Уже гасли огни в «Вавилоне», а он все стучал, безумно-настойчивый – неустоимый – почти бессмертный.

11 октября 1904 г.